

Обыкновенная биография i

В воронежском военном госпитале я пролежал три недели. Рана еще не совсем зажила, но за последние дни прибывало много [раненых]

*

шахтеров с линии Миллерово — Луганск — Дебальцево. Мест не хватало.

Мне выдали пару белых грубых новых костылей, отпускной билет и проездной литер на родину.

Я надел новую гимнастерку, брюки, шинель, полученные взамен прежних — рваных и запачканных кровью, — и подошел к позолоченному полинялому зеркалу.

Я увидел высокого, крепкого мальчугана в серой солдатской папахе, самого себя с обветренным, похудевшим лицом и серьезными, но все равно веселыми глазами.

Полтора года прошло с тех пор, как, испугавшись, убежал я из нашего города Арзамаса.

С тех пор прошло многое. Октябрь. Боевая дружина сормовских рабочих, Особый революционный отряд, фронт, плен, гибель Чубука, прием в партию, пуля под Новохоперском и госпиталь.

Я отвернулся от странного зеркала и почувствовал, как легкое волнение слегка кружит мою только что поднявшуюся с госпитальной подушки голову.

Тогда я подпоясался. Сунул за пояс тот самый, давнишний маузер, из-за которого было столько беды в школьные годы, и, притопывая белыми, свежими костылями, пошел потихоньку на вокзал. Там спросил я у коменданта, когда идет первый поезд на Москву.

Охрипший суровый комендант грубо ответил мне, что на Москву сегодня поезда нет, но к вечеру пройдет на Восточный фронт санитарный порожняк, который довезет меня до самого Арзамаса.

И еще сердитый комендант дал мне записку на продпункт, чтобы выдали мне хлеб, сахар, селедку и махорку в двойном размере — как отпускнику-раненому.

Хлеб, сахар и селедку я положил в вещевой мешок, а махорку отдал на вокзале одному товарищу, который был еще раньше ранен и теперь опять возвращался на фронт.

Около года я не получал писем от матери. Сам я написал ей за это время два или три коротеньких письма, но адреса своего ей сообщить не мог, потому что в то время полевых почтовых контор еще не было, да если бы и были, то и это не помогло бы, потому что орудовал наш маленький отряд больше по тылам — сначала у немцев, потом у гайдамаков и у белых.

А из госпиталя, из Воронежа, я не писал нарочно — чувствовал, что мать, узнав о моей ране, только без толку расплачется и разволнуется.

Санитарный порожняк торопился на восток, где в это время шли крепкие бои с Колчаком. Уплывали одна за другою станции, чужие, незнакомые, но все так похожие одна на другую — забитые, грязные, кричащие, звенящие, лязгающие оружием, расцвеченные красными флагами и плакатами.

Мелькнет вокзал, красноармейцы, выстроившиеся с котелками возле дымящейся походной кухни.

Дернет за сердце прорвавшийся через грохот колес напев гармоник, дунет морозный ветер — запахом дыма, сена, лошадиного навоза и карболки.

Врежется в память [посиневшее] лицо рабочего-дружинника, опоясанного пулеметной лентой на вылинялой кожаной тужурке, отягощенной брезентовым патронташем.

Улыбнется и махнет рукой женщина, вероятно работница. Да и какая там женщина — просто веселая девчонка с наганом у кожаного пояса.

И опять далекое поле, а в поле за сугробами далекие дороги и далекие деревни, села, и в каждой деревне свой Деникин, в каждом селе свой Колчак, свои красные, своя ненависть и борьба.

Поезд прорвался за Муром, и вместе с ударами станционных колоколов сразу зазвучали имена станций, разъездов, полустанков, давно знакомых еще по детству, по школе, по семье... Мунтилово, Балахониха, Костылиха...

Давно ли? Нет, впрочем, давно, очень-очень давно — года четыре или лет пять назад отец взял меня с собой в Костылиху, куда ездил в гости к тамошнему учителю Федору Матвеевичу... Там мы спали на сеновале, потом пили чай с крыжовником, потом мы ходили купаться, и когда шли назад, отец и учитель и

еще две какие-то хорошие женщины, то все они пели песню, которую я силился сейчас вспомнить, но никак не мог.

Отец гудел басом, как церковный колокол. А одна из хороших женщин, та, которую звали Маруся, пела так звонко-звонко, что я схватил ее за руку и так прошел с нею всю дорогу — тихонько и молча.

Потом, когда уже дома я рассказывал об этом матери, мама сказала мне, что эта Маруся нехорошая женщина, и заплакала... И когда отец стал успокаивать мать и стал говорить, что он и сам не находит в Марусе ничего хорошего, то и тогда я остался при своем убеждении, что эта Маруся все-таки хорошая.

Поезд прорвался мимо полустанка Слезевка. Впереди мелькнули бесчисленные церкви и монастыри Арзамаса, они росли, вырисовываясь все ярче, ярче... так что я теперь мог уже различить и крутую гору собора, и купол Благовещенской церкви, и даже старую пожарную каланчу.

Тогда поезд завернул влево и ушел в лес, в тот самый детский лес, в котором мне были знакомы каждый бугорок, каждая поляна и каждая ложбина.

Кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулся. Передо мною стояла красная сестра с поезда.

— Приехали, — мягко сказала она. — Сойдешь, постарайся найти лошадь. А если не найдешь, то иди потихоньку и чаще отдыхай.

— Хорошо, — ответил я, — потихонечку. — А сам с поспешностью, какую только могли позволить мои костыли, затопал к дверям останавливающегося вагона.

Извозчиков не было. Стояло несколько подводчиков, приехавших за грузом на станцию. Я задумался. До города было километра четыре — сначала полем, потом через овраг, потом через перелесок. Такой длинный путь с моей простреленной ногой мне было пройти нелегко. Но делать было нечего. Я поправил вещевой мешок за плечами и пошел по гладкой, накатанной дороге. Я шел потихоньку, а мне хотелось бежать. Но когда я пробовал ускорить ход, костыли начинали скользить по обледенелым колеям или проваливаться в снег, а нога начинала неметь и ныть.

— Э-эй! — услышал вдруг я позади себя окрик.

Я хотел посторониться. Но посторониться было некуда, потому что я был в ложбине, занесенной снегом, где только-только могла проехать одна лошадь. А в сугроб свернуть мне было нельзя...

Тогда я рассерженно обернулся и, опираясь на костыли, встал поперек пути.

С саней соскочил подводчик, подошел ко мне и, разглядев, в чем дело, сказал:

— Садись, солдат, подвезу.

Я забрался на сани, груженные мешками с овсом... и с любопытством посмотрел на подводчика.

Ему было лет сорок, он был небрит, нос его был красен, щеки одутловаты, на голове у него была заячья шапка с ушами, а одет он был в [серую] форменную шинель — такую, какие носили раньше учителя и акцизные чиновники...

«Неужели это он? — подумал я. — Конечно, он!»

— С какого фронта? — спросил подводчик, завертывая толстую сигарку из махорки.

— С Южного, — ответил я ему улыбаясь. — Александр Васильевич, это вы, а это я.

— Что значит «это вы, а это я»? — удивленно переспросил он, вынимая изо рта сигарку и поднимая на меня мутные маленькие глаза. — Го-о-ори-ков? — вполголоса вскрикнул он. — Го-о-ориков! — Он снял толстую брезентовую рукавицу и протянул мне руку: — Ну, здравствуйте.

— Здравствуйте, — весело ответил я. — Как живы-здоровы, Александр Васильевич?

— Жив... — ответил он, — и жив и здоров... А вы, я как вижу, не совсем?

— Нет, и я совсем! Я также и жив и здоров, а это... — и я ткнул рукой костыль, — это пустяк, это временно.

Лошадь тихонько бежала по узкой дорожке через перелесок. Мы оба замолчали. Каждый думал о своем.

Сидя в санях, я вспоминал: тишину, черное пятно классной доски, форменный сюртук с блестящими пуговицами и машинный, ровный голос:

«Швеция должна была признать себя побежденной. Великая Российская империя приобрела устье Невы, Кронштадт и северное русло исторического пути, связывающего Европу и Азию...»

Он, вероятно, думал:

«В 1917 году Великая Российская империя была побеждена и завоевана людьми, приобретшими начало и конец пути, который должен, по их замыслам, связать и Европу, и Азию, и весь мир в одно целое. И вот я, дворянин, коллежский советник Александр Васильевич Воронин, учитель, в порядке трудовинности посланный за овсом на вокзал, везу сейчас раненого большевика, и даже не большевика, а большевистского мальчишку, которого два года тому назад я учил тому, что Великая империя непобедима».

Он довез меня до самого дома и, хмуро кивнув головой на мое «спасибо», повез сдавать овес в упродком.

А я, с опаской посмотрев на окна нашей квартиры, зашагал во двор, радуясь тому, что окна заледенели и через них ничего не видать.

Стараясь не стучать, я поднялся по лестнице, осторожно отставил костыли в угол за шкаф и постучал в дверь.

За дверями слышался мелкий топот. И по пыхтенью я понял, что это Танюша тужится, открывая крючок двери.

— Мама дома? — спросил я у не узнавшей меня сестренки.

— Нет! — ответила она, и испуганные глаза ее блеснули слезинками.

— А-ах... не-ет! — весело закричал я, подхватывая костыли и вваливаясь в комнату. — А-ах... нет! А ты без мамы и узнать меня не хочешь!..

Я сбросил сумку, шинель и, усевшись на кровати, обнял не совсем еще оправившуюся от испуга девчурку.

— Господи, Борька!.. Ну, Борька!.. Ну, какой ты ужасный солдат! Ну, как папа был солдат, так и ты солдат... — стрекотала Танюшка. И, целуя меня, она добавила протяжно и укоризненно: — Бо-о-орька! Борька! И что ты как давно не писал, а уже мама думала, думала. И я тоже думала, думала. Да вот! Когда она сейчас с базара придет — все сама расскажет.

Я оглянулся. Все стояло на старом месте... и шкаф, и кровать, и старый треногий диван. Я посмотрел на стену там было новое.

Прямо со стены глядел на меня большой портрет отца — в такой же, как у меня, серой папахе и в такой же шинели, и был тот портрет обведен траурной каймою из красной и черной материи.

— Это тебя на войне убили? — спросила Танюшка, осторожно дотрагиваясь пальцем до костыля.

— На войне! — рассмеялся я и сунул костыли под кровать.

— А у нас, Борька, горе какое! Ну какое горе! Такое горе! — И сестра грустно посмотрела на меня.

— Какое еще горе? — встревоженно спросил я, пододвигая ее к себе.

— А такое горе, что Лизочка уже умерла!

— Какая еще Лизочка? — спросил я, вспоминая и перебирая в памяти всю веселую ораву моих двоюродных сестричек, живших в деревне неподалеку от Арзамаса.

— Как — какая? — И Танюшка подняла на меня печальные и изумленные глаза. — А наша-то Лизка — кошка такая. Помнишь? Да она-то еще один раз с печки прыгнула — и молоко опрокинула. Ну, вспомнил теперь?..

— Вспомнил, Танюша!

Пришла мать. Распахнув дверь, она остановилась. Внимательно посмотрела на меня. Поставила на пол корзину и, подойдя, крепко обняла меня. Сбросила платок, холодными от мороза руками взяла мою голову, посмотрела мне в лицо и сказала дрогнувшим голосом:

— Похудел. Побледнел. А вырос-то, а вырос-то! Да встань ты с кровати! Дай я на тебя посмотрю.

— Мне, мама, неохота с кровати вставать, — отказался я. — Я бы, пожалуй... да у меня нога немного побаливает.

— Отчего побаливает? — И мать подозрительно посмотрела вокруг. — То-то я слышу, что йодоформом пахнет.

— А оттого побаливает, что еще не зажила. То есть уже зажила, да еще не совсем.

— Он с палками пришел, — вмешалась Танюшка, вытягивая из-под кровати костыли. — Как пришел, так под кровать их спрятал, а сам сидит!

— Ранен? — тихо спросила мать.

— Немножко, — ответил я. — Да ты не думай ничего, мама, все прошло...

Мать провела рукой по моей бритой голове, и с минуту мы просидели молча. Потом она быстро встала, сдернула пальто и бросилась на кухню:

— Бог мой! Да ты, должно быть, голодный!.. Танюшка, беги скорей в сарай — тащи уголь! Сейчас самовар поставлю. И куда это я спички сунула?.. Борис, у тебя есть спички?.. Не куришь? Так, ну и хорошо! Да вот они!.. Ты бы сапоги снял и лег. Дай я тебя разую...

Вскоре зашипел самовар. Запахло с кухни чем-то вкусным. Входила и выходила из комнаты раскрасневшаяся у плиты мать. Ровно тикали стенные часы да колотила метелица в узорчатые морозные окна.

Легкая дрема охватила меня. Было тепло и мягко на старой кровати, укрытой знакомым стеганым одеялом. И вдруг показалось мне, что ничего не было — ни фронта, ни широких, далеких степей, ни отряда, ни боев. Будто бы все то же, что и раньше. Вот она, настенная полка с учебниками. Вот в углу [древняя] картина, изображающая вечер, закат, счастливых жнецов, возвращающихся с поля. Через открытую дверь виднеется кипящий самовар на клеенчатом столе — такой же неуклюжий, с конфоркой, похожей на старую шляпу, сбившуюся набок.

Я полузакрываю глаза... В углу возится Танюшка, напевая древнюю баюкающую песенку — ту самую, которую я слышал от матери еще в глубоком детстве:

На горе, го-о-оре
Петухи поют.
Под горой, горой
Озерцо с водой.
Как вода, вода
Всколыхнулася,
А мне, девице,
Да взгрустнулося.

И мне уже совсем начинает казаться, что ничего не было, что все по-старому, по-школьному, по-давешнему.

— Борис! — кричит мне мать. — И соседей кликать?.. Боря, тебе чай в кровать дать? Или ты сюда придешь?

Я вздрагиваю, и опять я вижу через смеженные веки свою шинель, папаху на вешалке и как тащат и ставят костыли у моего изголовья.

Так — все было.

После обеда, когда мать ушла на дежурство в больницу, а я, вдоволь насмотревшись и наговорившись, лежал в кровати, раздумывая о том, куда мне завтра пойти и кого повидать, в дверь постучали.

И в комнату неожиданно вошел мой школьный товарищ Яшка Цукерман. Он вошел улыбаясь, и в то же время видно было, что он старается казаться серьезным и солидным.

Яшка был на год моложе меня, следовательно ему было сейчас пятнадцать. Мы были с ним одноклассниками и дружили когда-то, давно, еще до революции, до тех пор, пока не был приговорен к смерти мой отец, и до тех пор, пока ко мне не была прилеплена кличка «дезертиров сын».

После всего этого я разошелся со всеми товарищами, кроме Тимки Штукина. С одними, как, например, с Корневым или с Федькой, у меня была открытая вражда, с другими — в том числе и с Яшкой — вражды не было, но был взаимный холодок и отчужденность.

Но так как все это было очень давно и так как с тех пор изменилось многое, то я [все-таки, увидев его] обрадовался Яшкиному приходу.

— Здравствуй, Гориков, — сказал он, называя меня по фамилии.

— Здравствуй, Цукерман, — в тон ему ответил я. — Садись! А я устал с дороги и полежу немного.

— Что ты! Что ты! Конечно, лежи! — быстро проговорил он, поглядывая на мою ногу, под которую заботливая мать перед уходом положила подушку. — А мы узнали, что ты приехал, — продолжал он, усаживаясь на стул и держа в руках форменную фуражку с сорванной кокардой. — Вот ребята и говорят мне: «Пойди, Яшка, узнай: как он, откуда, надолго ли?.. Ну, вообще, говорят, пойд и узнай...» Вот я взял да и пошел.

— И хорошо сделал! — ответил я, не совсем понимая только, какие это именно ребята могли попросить Яшку узнать обо мне, потому что с отъездом Тимки Штукина на Украину никаких школьных товарищей у меня не осталось.

— Ты с фронта приехал? — спросил Яшка.

— С Южного, — ответил я, внимательно разглядывая прежнего товарища и удивляясь тому, как вырос и возмужал он за эти полтора года.

— Ты был ранен?

— Да, в бок и в ногу!

— Ты надолго приехал?

— У меня отпуск на три недели...

— А потом?

— А потом опять на фронт...

— На какой?

— Не знаю! На какой пошлют, фронтов много.

Разговор не завязывался никак. Он спрашивал. А я отвечал охотно. И все-таки, несмотря на все это, несмотря на то, что нам обоим хотелось попросту поговорить, — какая-то неуловимая черта, наметившаяся еще где-то далеко в прошлом, лежала между нами.

— Ребята просили! Если ты сможешь, то приходи завтра к нам. У нас завтра в семь часов вечер в клубе. Там много наших встретишь — они будут рады.

— Цукер... — спросил я, — вот ты все мне говоришь: ребята послали, ребята просят — какие это ребята? Ну, например, кто?..

— Как — кто! Васька Бражнин, Васька Суханов, Гришка, Федор... я, Пашка Коротыгин — ну, вообще все наши одноклассники, комсомольцы...

— Как? — Я повернулся так быстро, что нога моя соскочила с подушки и больно и сладко заныла. — Как ты сказал? Комсомольцы! Разве Гришка комсомолец?.. Разве ты, Яшка, комсомолец?..

— А ей-богу же, Борька, комсомолец! — обиженно и искренне вскричал Яшка, впервые называя меня по имени и так же по-прежнему, по-мальчишески оттопыривая губы, за что его и прозвали в школе Яшка-теляшка. — Уж скоро полгода, как комсомолец... Да хочешь, я тебе билет покажу?

— Ой-ой-ой-ой! — захохотал я, вырывая и отбрасывая его фуражку, которую он без толку крутил в руках. — Ой, и чудак же ты, Яшка! Что же ты мне просто не сказал? А то сидит, как китайский посол, и тянет что-то... меня послали... тебя просили... Сел бы да и говорил просто!

— А черт тебя знал, Борька, как с тобой разговаривать! — откровенно сознался Яшка. — Твое, можно сказать, такое положение, да еще с фронта, да еще раненый! Мне ребята говорят: «Гориков приехал, сходи ты, Яшка». Я спрашиваю: «Почему я? Пускай Гришка идет или Васька». Васька говорит: «Мне что, я схожу. А только Яшке лучше, он и раньше у него бывал». Ну, я и пошел...

Все прошло. Исчез холодок. Разговор стал простым и теплым — таким, какой может быть только между двумя давно не видавшимися после ненужной и случайной ссоры товарищами.

Я мало рассказывал, больше спрашивал. Потом мы начали вспоминать:

— А помнишь?

— А помнишь?..

Много таких светлых и коротких [помнишь] накопилось за время дружбы ребят, которая началась чуть ли не с шестилетнего возраста.

Он рассказывал мне о моих школьных товарищах и врагах, о том, кто из них остался, кто уехал, кто вступил в комсомол. И я с огромным вниманием и радостью слушал о том, что Кольку приняли было, да вскоре исключили. А что Васька оказался хорошим парнем. А что другой Васька тоже в комсомоле... И что Петька подал заявление... И только один раз я нахмурился. Это когда я узнал, что Федька Башмаков тоже в комсомоле — и, мало того, один из первых вступил в комсомол.

Это больно задело меня. До сих пор еще во мне жила глухая, крепкая вражда к Федору.

И хотя я не сказал ничего об этом Яшке, но он и сам почувствовал это и перевел разговор на другое.

Яшка долго еще просидел у меня, и когда он уходил, то у обоих у нас горели щеки, глаза блестели молодым, светлым задором.

Мы условились встретиться завтра на вечере в клубе укома...

Был последний вечер первой недели, которую я провел в Арзамасе.

Я, Васька Бражнин, Яшка и еще две наши девчонки сидели на диване в клубе укома. Яшка только что сдал Ваське ночное дежурство. Васька нацепил на пояс огромный «Смит и Вессон» и деловито осматривал принятое под расписку оружие: четыре винтовки разных систем и две гладкоствольные берданки.

Две девчонки — Маруся и Зойка — возвращались домой из госпитальных барачков, что за городом, завернули на минутку передохнуть да и застряли в клубе. А я зашел повидать Сережу Шарова, председателя укома. Но мне сказали, что он все еще на вокзале.

Ночью мимо Арзамаса должен был пройти на восток эшелон с муромским рабочим батальоном, и наши комсомольцы еще с обеда грузили в вагоны фураж, чтобы батальон мог, не задерживаясь, катить дальше на фронт. Поэтому-то в клубе сегодня было так спокойно и тихо.

Васька окончил щелкать затворами и потащил винтовки в деревянную стойку. Гнезд в стойке было восемнадцать, а винтовок — всего шесть, и чтобы они не ютились в одном уголку, он расставил их вдоль всей подставки — через два гнезда в третье.

— Васька! — сказала Зойка. — Ты бы хоть печь затопил. Смотри, холодина какая...

— Затоплю, — ответил Васька и подошел к телефону. — Штаб охраны! — гордо попросил он, отворачиваясь, чтобы нам не было видно его лицо. — Это штаб? Дай дежурного по гарнизону... Дежурный по гарнизону?... Говорит дежурный по комсомолу Василий Бражнин. Дежурство принял. Налицо шесть винтовок и два патрона... С 10 вечера до 8 утра... Ночуют в комсомоле четверо...

Он отрапортовал это, потом спросил уже совсем обыкновенным голосом:

— Это ты сегодня дежуришь? Слушай, ведь я еще тебя в прошлый раз просил... Ну неужели у вас не найдется хоть десяток патронов?... Ну да, для винтовки... Поищи, пожалуйста, а то у нас на нее всего одна обойма...

Затем он повесил трубку и подошел к большому синему плану города, висевшему на стене, взял листок с адресами и стал что-то рассматривать.

— Васька! Затопи печку, — повторила Зойка, укутываясь покрепче в пальто и подбирая ноги на диван.

— Затоплю, — ответил он, тыкая пальцем в расчерченный на квадраты план и бормоча вслух: — Первое отделение... Анохин, есть... Второе — угол Армянской и Ольгинской — Колька, есть... Слушай, — спросил он, оборачиваясь к Яшке, — почему у нас по боевому расписанию выходит, что... Голубев, который живет на Севастопольской, должен бежать к Шагину и к Ильину? А Конопляников, который живет... на Сальниковской, должен бежать на Большую к Ведеркину и Самойлову — то есть под самый бок к Голубеву? Тоже... расписание называется!

— Васька! Затопи печку, — повторила Зойка. — Как твое дежурство, так ты все с винтовками да с сигналами, а в комнате уши мерзнут...

— Затопи, Васька! — поддержала Зойку молча сидевшая Маруся. — Что ты там мудришь? Какая тревога? Восстание будет, что ли?..

— Дура! — серьезно и сердито ответил Вася и обратился ко мне: — Поясни им — восстание не восстание, а когда в прошлом месяце вызвали на охрану спиртового завода в Лаловку... то три часа прошло, пока половина собралась... Вот тебе комсомольская дружина... Сейчас затоплю, — сказал он, доставая из угла большой топор. — Дров только еще наколоть надо...

Он вышел во двор. И через минуту послышался сухой треск раскалываемых поленьев.

— Затопит — тепло будет! — сказала Зойка. — Я и так намерзлась сегодня. Веселое дело — выбрали нас с Муркой в санитарную комиссию. Пришли мы в госпитальные бараки: [на складе] грязь, одеяла — как половики, простыни тоже... «Что ж это, говорим, товарищи! За все это мы можем и акт составить». А там только рукой махнули: «Составляйте, говорят. Прислали нам все это добро из расформированного полевого лазарета. А прачек нет... тут их по крайней мере двадцать нужно... А у меня всего и по штату шестеро, а налицо четверо. Вы бы, вместо чем акты составлять, помогли как-нибудь...» А как поможешь? — Тут голос у Зойки стал унылым, жалобным. — А как поможешь? Вот... собрали мы с Муркой девчат одиннадцать человек... да сегодня шестой день и стираем! Надоело... ужас как.

Она помолчала, подула на застывшие руки и добавила:

— Я бы уж лучше на фронт пошла... А ты как, Мурка?

— А что там делать? — подумав немного, спросила Маруся.

— Как — что? Воевать!

— Разве что воевать! — улыбнулась Маруся.

Тут они обе переглянулись и ни с того ни с сего рассмеялись.

Вошел Васька и бухнул возле печки большую вязанку расколотых сосновых поленьев.

Со станции появился Сережа Шаров и сказал, что погрузка окончена и ребята идут в город.

Вскоре запылал огонь, сразу стало теплее и светлее. Мы подвинули диван к печке.

— Расскажи, Борька, что-нибудь про фронт! — попросила Зойка. — Ну вот, например, идет ваш отряд — вдруг... Ну, и так далее...

— Как это, Зойка, и вдруг... и так далее? — удивился я.

— Обыкновенно как... Как всегда рассказывают. Так-то и так-то... потом вдруг так-то! И так-то! Так-то и так-то. И вдруг еще как-нибудь.

Все рассмеялись.

— Дуреха! — снисходительно вставил подсевший к нам Васька. — Ну, спросила бы про бой или про атаку, ну там про фронтальную или про фланговую... — Васька спокойно и солидно произнес эти два слова. — А то «вдруг да вдруг...». На военные кружки — так их нет! И потому спросить-то у человека толком не умеют. «Вдруг да вдруг».

И Васька посмотрел на меня, как бы говоря: «А что с них спрашивать?.. Разве они понимают!»

Однако, по правде сказать, если бы я стал рассказывать, то мне много легче было бы рассказывать по Зойкиной схеме: вдруг — так, а вдруг — этак, чем описать картину... «фронтальной или фланговой» атаки. Потому что я и сам не знал, когда у нас была фронтальная, когда фланговая, когда еще какая... И, во всяком случае, если они и были, то уж никак не похожи на те, о которых вычитал Васька в старых уставах... Однако я хитро подмигнул ему — что, конечно, мол, мы-то понимаем, — но рассказывать отказался, сославшись на то, что надоело и расскажу когда-нибудь потом.

— Ты, Борис, храбрый? — спросила Зойка.

— Очень! — ответил я.

— Ну, какой храбрый? Есть же все-таки и храбрей тебя?

— Мало! — коротко ответил я.

— Это хорошо, что ты «очень»! — задумчиво сказала Зойка. — А вот мы с Маруськой — ой, какие трусихи!..

Тут девчонки опять переглянулись и снова дружно рассмеялись.

— Домой бы идти надо, — сказала Зойка, — и неохота. А нужно еще кое-что почитать, выспаться. А завтра у нас в десять кружок. «Женщина и социализм» разбираем... Ты как, Борис, смотришь на женский вопрос? Тебе все понятно у Бебеля?..

Зойка подтолкнула валенком высунувшиеся из печи шипящие поленья и, повернув покрасневшее от огня лицо, посмотрела на меня. И я смутился. Дело в том, что на женский вопрос я как-то еще никак не смотрел, да и фамилию-то Бебеля слышал только что впервые.

Я хотел как-нибудь уклониться от ответа.

Зойка сразу догадалась об этом. Она укоризненно покачала головой и спросила опять:

— А ты Карла Маркса читал?.. Нет!.. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А еще коммунист!

— Ему некогда было читать! — вступился за меня Васька. — На фронте не до чтения... Как там загрохочут двадцать батарей... так тогда не до чтения.

— Конечно, если двадцать-то батарей, — покорно согласилась Зойка, — какое тогда чтение.

Тут уж я рассердился не на Зойку, а на Ваську. Никогда я не слышал, как грохочут двадцать батарей. Две-три — еще может быть, а никак не двадцать. Кроме того, не читал я, уж конечно, вовсе не из-за батарей и вовсе не потому, что было некогда, или потому, что не попадались книги. Времени свободного было сколько хочешь; не одну, так другую книгу тоже достать было можно. А не читал я просто так — [из-за лени, безалаберности, да и все].

— Прочитаю еще, — хмуро ответил я. — Соберусь как-нибудь и прочитаю.

— Тебе обязательно надо, — серьезно поддержала Зойка. И, опять хитро переглянувшись с Марусей, задорно добавила: — Мы-то еще комсомольцы, а ты ведь уже коммунист.

Застучало, загрохотало на лестнице, распахнулась дверь — и в клубах пара, осыпанные снегом, с побелевшими от мороза бровями, ввалилось в комнату около десятка человек. Они, точно по команде, оглушительно затопали, стряхивая с сапог и с валенок рыхлый снег, посбрасывали полушубки, шинели, куртки; некоторые скинули обувь и задвигали скамьями, пробираясь к огню...

— Ну и мороз, Борька! — сказал Сережа Шаров, присаживаясь рядом со мною и бесцеремонно оттискивая в угол дивана Зойку. — Замерз! Три вагона нагрузили... И знаешь, только-только окончили, как прибежал комендант: «Ну как, ребята?» — «Готово!» — говорю. «Вот, говорит, выручили! А мне сейчас позвонили, что эшелон уже из Мункалова вышел. Через час здесь будет. Вы бы, говорит, подождали: может, приветствие какое-нибудь — ну там митинг...

И они вам спасибо за фураж скажут». Как услышали наши ребята про приветствие да про митинг — и друг за другом ходу: кто в барак греться, кто в дежурку. «Нет, говорим, товарищ комендант, приветствовать... вы им сами передайте... [неразборчиво] [и без спасибо нам идти надо. И то сказать, с обеда... Какое уж тут спасибо]». Зойка! — сказал он, оборачиваясь к притихшим девчонкам. — Тебя сегодня в укоме Васильев ругал. Ты прикреплена к приюту. Скажи, пожалуйста... а ты была там хоть один раз? Нет!.. Ну и паскудная же ты, я скажу тебе, девка.

— Сереженька! — уныло сказала Зойка. — Солнышко ты мое любимое, золотой мой!.. Я в госпитале... сейчас занята, занята! А до госпиталя я каждый день на вокзал три километра — в распределитель — бегала, бегала! А до этого — на подразверстку в Полянскую волость... с Анохиным, ездила, ездила. Ой, как люблю я тебя, дорогой мой! — лукаво закончила она, обнимая Сережу за шею.

— Ну-ну, любишь! — заворочался Шаров, разжимая своими крепкими лапами ее руки. — Балаболка! А впрочем, и то правда. Я так и сказал: «Не разорваться же ей». А в приют мы завтра Ленку пошлем.

— Ленка не пойдет! — вскричала гревшаяся у огня Маруся.

— А кто спрашивать будет? — удивился Шаров. — Постановим — значит, пойдет!

— Ленка не пойдет. Она на днях замуж выходит и к мужу в вокзальный поселок переедет. А оттуда далеко...

— Замуж?.. Далеко?.. — переспросил Шаров, и на лице его появилось такое неподдельное негодование, как будто бы ему сообщили не о том, что Ленка замуж выходит, а о том, что Ленка уходит... в белогвардейскую банду. — Ну ладно! — добавил он уже более сдержанно. — Это мы еще обсудим, кто замуж, а кто куда!.. Борька! — негромко сказал он, оборачиваясь ко мне. — Пойдем в другую комнату, нам ведь с тобою поговорить кое о чем нужно...

Неоконченное произведение.

(Прим. ilibrary)

В квадратные скобки взяты слова, вычеркнутые автором в оригинале, или же слова, неразборчиво написанные.